

Колумбийская лирика: два новых имени

*Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко **

Кто спорит — романы Габриэля Гарсиа Маркеса и поэзия Леона де Грейффа в наши дни символизируют литературную славу всего латиноамериканского континента. Настолько, что не всякий европейский почитатель их творчества сразу вспомнит, откуда они родом. Из Колумбии! Как и поэт XVII века Эрнандо Домингес Камарго — родоначальник латиноамериканского барокко или Хосе Асунсьон Сильва, поэт конца XIX века — предтеча латиноамериканского «модернизма».

Колумбия, эта «земля поэтов, страна, озаренная поэзией»¹, и впрямь, похоже, *поэтическим* временем и пространством превзошла свои естественные географические и исторические границы. Литературоведы грядущего столетия разберутся, в чем тут дело и как это вышло.

Не обязательно, конечно, но все-таки, может быть, они в этой связи отметят и такую характерную, хотя и не слишком странную деталь, как преобладание любовной лирики в творчестве колумбийских поэтов. Не слишком странную — ибо во второй половине нашего беспощадно технократического века, когда обрушились в прах многие железобетонные твердыни политических и религиозных розовых и черных «заблуждений» (Леон де Грейфф), в картине мира нескольких поколений землян искренняя любовь оказалась — или показалась? — едва ли не единственной философией и практикой очеловеченного общения между людьми. А интимная лирика — единственно адекватным отражением этой «картины».

* Колумбийская лирика: два новых имени. ХОРХЕ ГАЙТАН ДУРАН. ЭДУАРДО КАРРАНСА (*Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко*) // *Иностранная литература*, 1989, № 5, 129–138.

Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag», 2007.
<http://imwerden.de>

¹ Карлос Мартин. 'Камень и небо в колумбийской поэзии'. В кн.: *Культура Колумбии* (М.: Наука, 1974), с. 172.

Сам по себе это феномен не колумбийского происхождения. Вспомним, что и у чилийца Пабло Неруды самая *читаемая* книга — «Двадцать стихотворений о любви», ставшая «песней песней XX века, произведением, по количеству экземпляров стоящим на втором месте после Библии»². Феномен-то по происхождению не колумбийский, но именно в Колумбии, пожалуй, впервые получивший полные права гражданства. Любовная лирика здесь, оставаясь, как и повсюду в мире, «экспозицией идеалов и жизненных ценностей человека» (Л. Я. Гинзбург)³, развилась в целостную энциклопедическую систему *этического* бытия и саморазвития мыслящей и чувствующей личности — систему, из которой выводимы остальные аспекты одухотворенности живого (а не вожденно-искусственного) интеллекта.

Как литератору, мне хотелось бы надеяться, что публикуемые переводы стихотворений двух из наиболее популярных в Колумбии, но наименее известных у нас колумбийских поэтов — Хорхе Гайтана Дурана (1924—1962) и Эдуардо Каррансы (р. в 1913) — хоть в некоторой мере подтвердят этот тезис. Между прочим, Х. Гайтан Дуран и сам писал: «Все эстетическое здание покоится на этическом фундаменте»...

² Володя Тейтельбойм. «Неруда целый и неделимый». В сб.: *Венок Неруде* (М., 1974), с. 468.

³ Л. Я. Гинзбург. *О лирике* (Л., 1974), с. 8.

ХОРХЕ ГАЙТАН ДУРАН

Знаю, что живу

Сегодня знаю точно, что — живу.
Лежу с тобой. Гляжу и вижу: лето.
И плод в твоей руке — почти планета,
плывущая сквозь листья и траву.

Но знал ли этот мир свой вес и рост
до встречи наших губ? Вольно в нем выжить,
поскольку можно из желанья выжать
любовь, чей вызов выше вечных звезд!

Коснусь морской волны ногой. Нагой
вернусь в тебя, впаду в твой сон рекой,
а не далекой маркой на конверте.

И — алое вино. И в унисон —
красные цветы. Не жизнь, а сон,
отчетливо напомнивший о смерти.

Мгновение

Солнце распустилось розой.
И певчая птица луны
улетела. Мы глядим друг на друга,
обнаженные. Над нами
простирает ветви красное дерево
солнца. Вот они мы — на берегу
реки, два вечно юных
тела. Мы — видишь? — друг друга
узнали. Мы умерли, да, но очнулись
от сна смерти и времени. Протяжно
смотрим друг в друга. И ночь
покарает нас, забывчивых, снова.

Объятье обнаженных

Два обнаженных тела слились
друг с другом, одинокие, — в городе,
где обитают только звезды.
Жадный пожар жажды
соединил их в одно, и они не видят себя,
не зная, красивы ли или — безобразны.
Пылают, как два мира, чьи орбиты
пересекаются раз в тысячелетье.
В зеркале слова, в этом осколке луны,
только и можно увидеть друг друга —
какие мы в минуту страсти, нежности и страха,
скрежетанья столкнувшихся скал,
враждебных звезд, воюющих империй.
Ласковое касанье среди рушащихся звезд!
Глупый поцелуй до самой глубины.
Два белых дельфина в дюнах дня.
Одинокий костер в поющей, ознобной ночи.

Любовники-1

Кто мы — любящие люди
или же — нелюди?
Обнажившись, обнаруживаем в себе
незнакомцев, узнающих друг друга на ощупь
по широким шрамам, по ожогам
жесточайшего желанья. Зачем нам зренье?
Подозревать небожителей
в дурацком адюльтере?
Влюбление заранее значит затмение:
столкновение кровожадных звезд,
безжалостную битву двух династий,
оспаривающих права на королевство.
Жаждем справедливости, расставляя засады,
капаем в сердце яд, яростно желая милосердия.
Такою метой небо метит влюбленных.
И ради того, чтобы тысячекратно
обуяла буря объятий,
они готовы каждый день
тысячекратно умереть.

Любовники-2

Бросаемся в омут обнаженности,
словно обнажив ножи —
два заблудших ангела,
два красных солнца в черной чаше,
два вампира на пиру рассвета.
Губы на снегу раскаленных коленей,
рот, ищущий рот,
мраморный поцелуй статуй,
взыскующий молнии мрака,
которая испепелит нас непобедимой вспышкой
все сметающей смерти.
Примем ее стоя, как летние тополя,
сидя, как захмелевшие боги,
да вспенят мой пепел две твои звезды,
две родины, рассекшие мою зарю.
Я теплюсь в теле твоём жилкой жизни.

Послание

Прости, я не забыл тебя. Не смог.
Нет, невозможно, сколько ни усердствуй.
Тук-тук — как в дверь. Все тот же стук у сердца,
Стучащего к тебе. И даже бог

мне в этом не указ. Хотел открыть я
задутый им твой свет, как Новый Свет, —
и тоже не сумел. Таланта нет,
а может, просто не было найтия.

Как много было у меня причин
любить тебя. Как мало величин
величественней вещей водoverти

любви. Хочу тебя запеленать
в слова, в стихи, в свирель, чтобы опять
тебя обнять — хотя бы в долгой смерти.

Ночное мимолетное

Вглядевшись попристальной во время, вижу — ночь.
Стало быть, все мои костры напрасны.
И не были они кострами — просто мириады звезд,
заполнившие небо. Всюду — небо.
Все было у меня, кроме безоблачных богов,
разомлевших от счастья. Жил миражем
сияющих в гармонии миров.

Скользя со звезды на звезду, ныряя в бездну,
могли же, наконец, мои глаза
постичь ничтожность моего мира!
Могла же, дыша галактической глубиной,
душа моя проникнуться трепетом
перед твердью бессонных небес,
где ничто не убывает — все бессмертно?
Но пропела труба тревожной сини,
и соловей упорхнул за порог времени.
Лесные листья прильнули трелью полета
к звездам. И светозарный олень
просквозил во влажной тайне рощи.
В тени ветвей очнулась твоя обнаженность,
и вновь моя земля зажгла меня желаньем.

Потеряв эту землю

Только из надежды соединиться с Софьей фон Кюн
Новалис, влюбленный в нее с тринадцати лет,
решил поверить — и поверил — в загробный мир.
Я же принял иную веру: в солнце, снег и деревья,
в белую бабочку на красном лепестке,
во вьющуюся траву в день ее увядания.
Ибо только эта вера могла мне подарить
короткое счастье сжимать тебя в объятьях
и, подобно богу отцу,
сотворить себя заново в твоих глазах.
Потеряв эту землю, я и тебя потеряю.

Хочу

Хочу сам прожить все имена,
которыми пожар мирозданья
озарил смертные предметы.
Например, «скала», «суть», «существо», «память».
Хочу потрогать кожу слов,
силой которых напрасно хотел похитить тебя
у насущной, ежедневной боли:
мрамор, в чьей глубине обитали боги, —
ныне гладкий, а некогда вмещавший
взлет души, которого нам так не хватает.

Не хочу умирать, покуда не утвердил
тебя среди людей громким городом.
Хочу, чтобы ты стала — еще до смерти —
единственным сочиненным на земле
стихотвореньем.

Ожидание

Стреноженная страсть. «Ну, скоро? Нет ли?» —
в глазах полузадушенной души.
Как жаждут хода шахматы... Спешите!
Куда? Стена ведь! — Ну, хоть в омут петли!

Да разве же затянется змея
такого вервья? У ожидания —
ни края, ни конца... Струной в фонтане
жесточкой жажды жгучая струя

натянута — на этой вертикали
я и повис. Века ли истекали,
мгновенья ли? Карабкаюсь — и вниз

лечу. Рассвет. Луч солнца на гардине.
Вновь голосом и сердцем я в пустыне.
Но, правда, слышу жизнь — из-за кулис.

Правда песни

Поэзия, я погружался с тобой
и в смерть,
и в боль,
и в одиночество,
и в пропасть прошлого,
в преданную нам и нами пучину
предков, прощально и ласково
протягивающую к нам руки
пшеничным полем,
узловатыми корнями, трепетом травы.
Я говорил и про себя. Говорил,
что я всего лишь горсть праха,
пронзенного пересечением молний.
Прогрызаю проволоку — и проваливаюсь
в забвенье. Гол мой негулкий голос
и одинок. Но у ног моей песни
пел вспененный океан общей печали,
указуя бездной в бесконечность,
обтекая жгучими водорослями острова
острого одиночества. В его волнах
окунулся я в тщетность вещного мира,
еще не подозревая о хрупкой вечности розы,
об этой самой краткой формуле бессмертья.
И понял я, что даже любовь —
всего лишь вечный путь в забвенье и разлуку,
а жизнь — просто победно-бедное бегство
в смятенье смерти. Я верил в боль.
В боль, воспламеняющую пеной песни
красную кровь красоты.
В боль, растущую у человека в сердце
с возрастом, с ростом крепнущих крыльев.
Короче, я верил в собственную боль.
Теперь я верю во всеобщность боли.
Я вспомнил о сущности общего,
в которой умирает изменчивость сущего.
Вспомнил о тысячелетней борьбе,
понадобившейся для того, чтобы малая травинка
стала принадлежать всем и каждому,
чтобы солнце светило всем и всюду:
и морякам, и грузчикам в порту,
и пахарю, торящему борозду навстречу жатве,
и роженице, корчащейся в схватках,
и каменщикам,
которые сидят пыльным вечером у порога
в куртках, испачканных известкой и цементом
и попыхивают глиняными трубками
среди детишек, празднующих рождество
без конфет и стеклянных игрушек.

Я верил в собственную смерть.
Теперь верую в смерть всех и каждого.
В смерть, зорко высматривающую нас
с вершин кладбищенских кипарисов,
оскалившую зубья скал на горизонте,
где извивается свист северного ветра,
где повстанческая песня окровавленных камней
продолжает звучать и после треска пулеметов.
В смерть, смеющуюся в лицо броневикам
с баррикады, над которой
никогда не подняться белому флагу.
В смерть изувеченных в пыточной,
павших в каждом из одиночеств одиночек
и не увенчанных потом лавиной лавров.
Верую в людей.
В человека и человечество.
Вслушиваюсь в собственное сердце —
оно не стучит, а перестукивается
со всеми на свете сердцами
человеческой человечности.
Да сожмут юные руки снова
оружие, обезображенное временем,
да взметнутся опять знамена,
измочаленные звездами злой ночи,
да начнется битва за начало
иначе выстроенной жизни.
Зря торжествуешь,
прожорливый жернов неизбежных жертв!
Сметем смелостью смуту смерти,
покончим с одиночеством, забудем боль —
пришла пора перекрыть мирозданье!

ЭДУАРДО КАРРАНСА

Навязчивый сонет о сне

И облако ее волос текло
дождем в мой сон. И снилось мне жасмином
былое лето. И платком карминным,
трепещущим в ее руках, стекло

оконное с рассветом приближалось
ко мне ее губами. Жег огонь
горящих уст. Горячая ладонь
прощалась навсегда... Какая жалость!

Ее рука была моей рекой,
моей листвой, тоской моей — такой,
что надо мною коршуном снижалось

в разлуке с нею небо... Упокой
меня, покой разрыва... И тоской
сотри с доски стихи... Какая жалость!

Сонет о кромешном «кроме»

Все хорошо. И росный луг, и эти
восторженные ветви на ветру.
Все превосходно. Праздник поутру
проснувшейся природы. Свет и ветер,

Все хорошо. Целую в лоб жену.
Плевать на дождь! Я счастлив. Почему бы
и нет? Другая поцелует в губы...
Я горд за город свой и за страну.

Все превосходно. Улыбнись во сне,
мой младший сын. И сон, и синь в окне —
все для тебя. Проси чего угодно.

Бери весь мир. Он так хорош, такой,
где *кроме* сердца, сжатого тоской,
все замечательно. Все превосходно.

Тема огня и моря

Огонь и море разве что и смеют
глядеть в глаза друг другу даже ночью.
Твое лицо и есть волна и пламя.
Костер и море ты вместила в очи.

Ты из пожара и струи студеной.
Лед, лава, щебет птиц и скрежет щепня.
Ты знаешь, чем кончается горенье,
и знаешь тайну вспененного гребня.

Отмеченные синей стынью глуби
и голубым огнем небесной тверди,
твои глаза плывут и пламенеют.
Как море и огонь. Как вызов смерти.

Крылья музыки

Не крылья ли забытой мелодии подняли
из прошлого, из праха, разлюбленную пыль?
Не пепел ли тумана на зыбком пьедестале
слепил печальный контур из миллиона миль?

Нет, память — это знамя. Портретом не обрамить
живого трепетанья на праведном ветру.
Плескайся языками, пылающая память,
борись, былая буря, язычествуй в бору!

Категоричны ритмы античного касанья.
Арктические ветры, аттическая соль!
Звезда ли полоснула косою угасанья?
Не знаю, но бемолем пронзила сердце боль.

Колокола, звоните! Пусть звездная разлука,
не разлучив, разучит жасминно-минный путь.
Взмывает в высь былое на белых крыльях звука.
Корнями скорби небо опять вырастает в грудь.

Тема женщины и яблока

Н. Парре

Женщина надкусила сочное яблоко.
Над черепицей все так же струилось время,
и бежала по лугу длинноногая весна,
смеясь беззаботно, как девушка.
Женщина ела яблоко.
В ней нарождалась живая влага,
и потаенное солнце, озарив ее изнутри,
незримо насыщало ее зрелостью.
В ее волосах разгорался ветер,
и весна поднимала в битве со смертью
непокорное знамя обреченной синевы.
Женщина ела яблоко.
Горячий голубой сок
пульсировал в ее жилах,
в теле ее текли цветы и рыбы.
Прозрачный бык взволнованного ветра
стонал и хрипел, почуяв издалека
ее осыпанный лепестками лимона затылок.
Пылало белое пламя жасмина.
И море, теплое море — море! — сияло,
словно глаза влюбленной.
Женщина ела яблоко.
На нее в упор смотрели звезды Гомера.
Над крышами струилось время.
Топоча, разбегались стада сиреневых зверей.
Как в начале начал
и на веки вечных мгновений,
женщина ела яблоко.
Яблоко моего сердца,
которое некогда было и снова станет землей.

Оленье солнце

Моей маме

Я помню: оленье солнце
вросло рогами в сумрак.
Вдали стекленели горы,
прозрачные, как рисунок
ребенка... Я был ребенком,
чей взгляд одинокой болью
струился, как наша речка,
поющая вдоль по полю
печальную песню русла...
Я помню, как мне с балкона
открылось, что мирозданье
мечтательно и бездонно,
и сон оленьего солнца,
казалось, навеки вечен...
А с трепетных губ жасмина,
как вздох, поднимался вечер.
Дышали стихом грядущим
и сок лепестка, и мякоть.
И было столь синим небо,
что очень хотелось плакать.
Я с мамой молчал. И это
молчание было в ранге
святой тишины, в которой
над нами витает ангел.
Мы в эту минуту были
во сне прозрачного слова,
отчеркнутого кристаллом
от четкой черты земного
и времени, и пространства...
Я помню себя ребенком.
Я помню солнце безрогим,
безропотным олененком.
Резвилось оно, катилось
на дно витражей заката...
Вживались мы в зазеркалье
стеклянного небоската.
Цвели розмарины, мама,
устаи прозрачных вестниц.
Предчувствием поцелуя
порхали улыбки сверстниц.
Сон солнца, рассказ луча ли,
аквариум акварели?
Из клетки сиял, из кроны ль
кристалл соловьиной трели?
Казалось, что все на свете
из воздуха и дыханья.
Казалось, что все готово
к свечению и порханью.

Но это мгновенье длилось
не более, чем мгновенье,
и смаргивалось ресницей
печального отрезвленья.
Пружина часов сминала
зеркальную гладь покоя,
и снова кристалл разлуки
оказывался рекою.
Но долго на дне заката,
обрызганы красной пылью,
вечернего перезвона
прозрачные крылья плыли.
Я помню: оленье солнце
вросло рогами в сумрак,
и был оком прозрачен
и чист, как детский рисунок.
Конечно, я был ребенком,
но снова твержу устало:
прекрасное — невозможно,
и все же существовало.

Об авторах

ХОРХЕ ГАЙТАН ДУРАН (JORGE GAITÁN DURÁN; 1924—1962) — колумбийский поэт и эссеист. Автор поэтических сборников «Настоятельная грусть» (*“Insistencia en la tristeza”*, 1949), «Человек — рядом» (*“La presencia del hombre”*, 1951), «Удивление» (*“Asombro”*, 1953). Публикуемые стихи взяты из книги «Если я проснусь завтра» (*“Si mañana despierto”*). Bogotá, 1962).

ЭДУАРДО КАРРАНСА (EDUARDO CARRANZA; род. в 1913 г.) — колумбийский поэт и прозаик. Автор книг стихов «Песни, начинающие праздник» (*“Canciones para iniciar la fiesta”*, 1936), «Ты и есть лазурь» (*“Azul de ti”*, 1956). Публикуемые стихи взяты из сборника «Сочтенные шаги», куда вошли и стихи, увидевшие свет в 1955—1968 гг. (*“Los pasos contados”*). Bogotá, 1975).

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Николаса Гильена, Леона де Грейффа, Альфредо Вивара и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе «Испанская рифма» (М., 1987), «Стилистический анализ испанского стихотворного текста: Основы теории испанской поэтической речи» (М., 1988) и др.

Примечание автора электронной версии

В журнальной публикации 'Колумбийская лирика: два новых имени' (*Иностранная литература*, 1989, № 5) сонет «Ожидание» ошибочно помещен в подборку стихов Эдуардо Каррансы. Автором этого сонета (*“La Espera”*) является Хорхе Гайтан Дуран. Исправлено согласно сборнику *Поэзия Колумбии* (М.: Художественная литература, 1991).